





ЮЛИЯ
ДРУНИНА

Ветер с фронта
стихотворения



МОСКВА

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Д76

Художественное оформление А. Дурасова

Друнина, Юлия Владимировна.
Д76 Ветер с фронта : стихотворения / Юлия Друнина. — Москва : Эксмо, 2025. — 256 с. — (Собрание больших поэтов. Стихи о войне).

ISBN 978-5-04-221591-9

Военная поэзия Юлии Друниной — это исповедь девушки, прошедшей через ад Великой Отечественной войны с санитарной сумкой в руках и с поэтическим словом в сердце. Ее стихи пронзительны и искренни, они звучат как голос поколения, чья молодость сгорела в пламени сражений. Друнина пишет не о подвигах ради славы, а о боли, страхе, любви и хрупкости человеческой жизни на фоне войны. Сборник станет откровением для читателя, ищущего в литературе не только художественное слово, но и живое человеческое чувство.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-04-221591-9

© Друнина Ю.В., наследники,
2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

С ТЕХ ВЕРШИН

(Страницы автобиографии)

Раннее детство. Темнота, изредка прорезанная всполохами памяти. Мне не больше четырех-пяти лет. Конец двадцатых годов. Страна еще освещена заревом Гражданской войны и революции. У нас, мелкоты, самым ругательным словом считается «буржуй». Буржуизмом, между прочим, называлось и любое «украшательство» в одежде.

А тут мать по случаю прихода гостей решила водрузить на мою голову громадный белый бант! Я упорно сдергивала со своих коротких вихров это позорное украшение. На помощь был призван отец. Он укрепил бант таким хитроумным узлом, что сдернуть его я уже не могла.

Покориться? Не тут-то было!.. Я схватила ножницы — и роскошный бант полетел на пол вместе с тощим хохолком.

До сих пор помню огорошенные лица взрослых и то чувство восторга, смешанного с ужасом, которое охватило меня тогда. Я не дала водрузить неприятельский флаг!

Давно нет на свете отца, мать не может припомнить того «ничтожного эпизода», но мне он врезался в память, как осколок...

По-разному складываются отношения в семье. Для меня отец был не только отцом — он выполнял и роль матери.

Перед сном я всегда повторяла: «Господи, сделай так, чтобы я умерла раньше, чем он». Конечно, ни в какого господина я не верила, но потребность в такой молитве была вполне объяснимой — любовь к отцу всегда сосуществовала у меня с вечной за него тревогой.

К тому времени, как я стала осознавать себя, отец был уже человеком пожилым, а по моим тогдашним понятиям и вовсе старым. Я родилась, когда ему, женатому вторым браком на женщине моложе его на двадцать один год, сравнялось уже сорок пять. К тому же больное сердце. И неудачно сложившаяся жизнь. Мечтал стать поэтом — стал учителем. Обожал первую жену — она умерла от чахотки...

Однажды мне посчастливилось спасти отца от трагической смерти. Как ударника (чтобы немного подработать, он вел «кружок рабочих авторов» в ЦАГИ) отца наградили удивительным подарком — билетом на показательный полет над Москвой в только что построенном супергиганте «Максим Горький».

Узнав, что отец согласился лететь без меня, я была глубоко потрясена его «предательством». Обида моя оказалась столь великой, отчаяние таким глубоким, что отец просто-напросто отдал кому-то свой билет. А потом пришло страшное известие: в «Максима Горького» врезался эскортирующий его самолет...

Длинные дремучие коридоры, пустынные таинственные лестницы: «черная», «винтовая», загадочно гудящая «моторная» — все это мир моего детства.

Здесь мы носились как угорелые, лихо скачивались по перилам, секретничали, ссорились и мирились. И не болтались под ногами у взрослых.

Как хорошо, что привольный этот мир не был ограничен стильными обоями и сияю-

щим паркетом нынешних вылизанных квартир! Бедные современные дети — жертвы полированных идолов по имени «Хельга» или «Роджерс»! Не капни на них, не толкни, упаси господи, не поцарапай!

Но спасибо, что судьба избавила меня и от тягостного быта коммуналок! В нашем доме напротив Моссовета, бывшей гостинице «Дрезден» (той самой, в которой останавливался Чехов), сохранилась коридорная система. И хотя людям приходилось выстаивать длинные очереди в уборные, во всех других отношениях они были независимы друг от друга и потому оставались, как правило, добрыми соседями.

А мы, дети, дружили крепко и верно. Как я уже упоминала, коридоры и лестницы были нашим клубом. А по Советской площади (там стояла тогда статуя Свободы) и по узкой Тверской, лавируя меж нечестными автомобилями, гоняли мы в «казаки-разбойники».

И самое большое, самое захватывающее счастье: чтение, сумасшедшее чтение запоем, тайком («хватит портить глаза!») в полутьме под лестницей, на подоконнике в коридоре,

в школе на уроках под партой, ночью с фонариком под одеялом.

У меня это было настоящей страстью. Не знаю, возможно ли такое у ребенка сейчас, когда в каждый дом вошел могущественный гипнотизер — телевизор...

А читать я научилась в четыре года каким-то неправильным, ненаучным способом. Природа (видимо, чтобы компенсировать за полное отсутствие памяти на лица) наградила меня патологически обостренной зрительной и слуховой памятью на все, что связано с чтением. Я невольно фотографировала в мозгу даже расположение строк, интервалы, знаки препинания.

Поэтому, прослушав несколько раз ту или иную сказочку и следя глазами за страницами, я вскоре ухитрялась «читать», не зная еще и букв. И так, незаметно для себя, выучилась грамоте.

Мне повезло. Первыми самостоятельно прочитанными книгами были сказки Пушкина, Гоголя и... Гомера. Да, Гомера. Ведь «Одиссею» я воспринимала тоже как собрание захватывающих сказок — об одноглазом вели-

кане-людоеде, о злой волшебнице, превращающей путников в свиней, о коварных сиренах, заманивающих мореплавателей в пучину.

И после этих шедевров — огушительное впечатление от повестей Лидии Чарской!..

Уже взрослой я прочитала о ней очень остроумную и ядовитую статью К. Чуковского.

Вроде и возразить что-либо Корнею Ивановичу трудно. Вот хотя бы почему это девицы у писательницы на каждом шагу хлопаются в обморок? Попробуйте, мол, сами — не удастся!

Действительно!.. Хотя в обморок дамы падают не только у Чарской, но и у Толстого, Тургенева, Пушкина. Я и сама задумывалась, как это удавалось нашему брату в прошлом веке...

Понимаю, что главное в статье Чуковского, конечно же, не обмороки. Главное — обвинение в сентиментальности, экзальтированности, слащавости. И должно быть, все эти упреки справедливы.

И все-таки дважды два не всегда четыре.

Есть, по-видимому, в Чарской, в ее восторженных юных героинях нечто такое — светлое, благородное, чистое, — что трогает в не-

искушенных душах девочек (именно девочек) самые лучшие струны, что воспитывает в них (именно воспитывает!) самые высокие понятия о дружбе, верности и чести.

Я ничуть не удивилась, когда узнала, что Марина Цветаева «переболела» в детстве Чарской.

И как это ни парадоксально, в сорок первом в военкомат меня привел не только Павел Корчагин, но и княжна Джаваха — героиня Лидии Чарской...

Однако моя великая эрудиция — от Гомера до Чарской — не помешала мне оказаться на самом последнем месте в своеобразном конкурсе для поступающих в школу. Параллельных классов в этой школе было великое множество, от «А» до «К», и педологи (впоследствии, правда, педологию признали «лженаукой») решили рассортировать ребятшек по их умственным способностям.

Нам раздали бумагу, клей, краски и предложили склеить какие-то фигурки. Я тут же все перепутала и перемазалась с головы до ног в этом клее, в этих красках, разведенных моими горькими слезами.

В ту пору мне всего было шесть с половиной лет. Меня отдали в школу, где преподавал отец и куда определена библиотекарем мать. Родителям было проще иметь меня перед глазами, чем оставлять одну дома. Потому так рано началась моя школьная жизнь.

Я попала в 1-й «К», если бы существовал 1-й «Я», быть бы мне в нем.

Чудно все-таки: возвратясь с войны, пройдя все, что положено солдату переднего края, в ночных кошмарах я упорно продолжала видеть... контрольную по математике. Отношения с точными науками сразу же сложились у меня абсолютно безнадежно.

И никогда я не сомневалась, что буду литератором. Меня не могли поколебать ни серьезные доводы, ни ядовитые насмешки отца, пытающегося уберечь дочь от жестоких разочарований. Он-то знал, что на Парнас пробиваются единицы. Почему я должна быть в их числе?..

После того как я напечатала в классной стенгазете стишки, начинающиеся строками «В третьем „К“ не все и порядке, не обернуты тетрадки», слава поэта прочно утвердилась за

мной в школе. И по-видимому, появилась неосознанная боязнь потерять эту славу. Только так я могу объяснить, что выступила однажды в роли плагиатора.

И у кого стащила стихи? У Пушкина!

Было мне тогда лет одиннадцать, и я пребывала в состоянии безнадежной влюбленности. Предметом моей страсти оказался мальчик по имени Игорь. Я по-своему переписала отрывок из пушкинского «Кавказского пленника», заменив в нем слово «русский» на «Игорь». Получилось здорово:

*Ах, Игорь, Игорь, для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебе навек я отдалась?
Ты мог бы, Игорь, обмануть*

*Мою неопытную младость
Молчаньем, ласкою притворной.
Я б услаждала жребий твой
Заботой нежной и покорной...*

И так далее...

Правда, давая читать это «письмо Игорю» своим подружкам, я никак не предполагала, что они не знают, кто его автор. Но когда

девочки пришли в бурный восторг от «моего» таланта, у меня уже не хватило душевных сил разочаровать их...

Эпигонский период, обязательный, вероятно, для каждого стихотворца, я прошла в школе. В эти годы я писала о любви (преимущественно «неземной»), о природе (в основном экзотической) и вообще о всевозможных высоких материях. Замки, рыцари, Прекрасные Дамы вперемешку с ковбоями, лампасами, пампасами и кабацкими забуддыгами (коктейль из Блока, Майн Рида и Есенина) мирно сосуществовали в этих ужасных виршах. До сих пор бывшие мои одноклассники дразнят меня «шедевром», созданным в пионерские годы:

*В омуте кабацкого разгула
Я нашла свой верный идеал —
То была цыганка Мариула
И вином наполненный бокал...*

Правда, очень скоро зазвучала новая нота — ностальгия по романтике Гражданской войны: «Эх, деньки горячие уплыли, не вернутся вновь. Помню, как алела в белой пыли молодая кровь».

По поводу этих строчек литконсультант Центрального дома художественного воспитания детей написал мне, что незачем, мол, тосковать по времени, когда ручьем лилась кровь... Он был совершенно прав, только не учитывал той детской жажды подвига, которая жила во мне, как и во многих моих сверстниках.

А тут фашистский мятеж в Испании. Республиканцы, интернациональные бригады.

До сих пор слова «Мадрид», «Барселона», «Гвадалахара» больно отзываются во мне. А тогда боль эта переплавлялась в стихи — неумелые, слабые, но уже идущие от жизни, а не от литературы.

В тридцать восьмом году Центральный дом художественного воспитания детей объявил конкурс на лучшее стихотворение. Посланные мной стихи были посредственными, но сейчас они поражают меня точным предчувствием своей судьбы, судьбы своего поколения:

*Мы рядом за школьною партией сидели,
Мы вместе учились по книге одной,
И вот в неотглаженной новой шинели
Стоишь предо мной.*

*Я верю в тебя, твоей воли не сломишь,
Ты всюду пробьешься, в огне и дыму.
А если ты, падая, знамя уронишь,
То я его подниму.*

Стихотворение напечатали в «Учительской газете», передали по радио. Известная журналистка Елена Кононенко специально пришла в школу, где я училась, а потом посвятила мне целый абзац в своей статье «Ранняя слава» (почему-то сделав непостижимый вывод, что именно эта «слава» мешает мне... подналечь на математику).

Я не сомневалась, что на конкурсе буду победителем. И вдруг — щелчок по носу: я вообще не получила никакой премии...

А первое место занял некий Сережа Орлов, паренек из провинции.

Так впервые пути мои перекрестились с большим поэтом Сергеем Орловым, ставшим мне через много-много лет близким другом и так рано, так неожиданно ушедшим недавно из жизни...

Семья наша жила весьма скромно. Правда, тогда я как-то не замечала этого.

К примеру, я вечно прогуливала физкультуру только потому, что на уроки не пускали без тапочек. А как я могла заикнуться про эти тапочки дома, если последние три-четыре дня до полочки у нас не оставалось ни рубля и мы сидели на пшенной каше? (Запасы этой крупы сохранились у родителей, по-моему, еще со времен Гражданской войны.)

У отца не было никогда костюма — он всегда ходил в одной и той же потертой вельветовой толстовке.

Я тоже ни разу не имела больше двух дешевых платьишек. И это казалось мне нормальным: так же одевались и мои одноклассницы.

Понятия «вещизм» тогда вообще не существовало, быт как-то не замечался — царило Бытие. По крайней мере, в нашей школьной среде.

Спасение челюскинцев, тревога за плутающую в тайге Марину Раскову, покорение полюса, Испания — вот чем жили мы в детстве. И огорчались, что родились слишком поздно...

Удивительное поколение! Вполне закономерно, что в трагическом сорок первом оно стало поколением добровольцев...

Когда началась война, я, ни на минуту не сомневаясь, что враг будет молниеносно разгромлен, больше всего боялась, что это произойдет без моего участия, что я не успею попасть на фронт.

Страх «опоздать» погнал меня в военкомат уже 22 июня, но проклятая застенчивость заставила в ответ на раздраженный вопрос усталого военкома: «А тебе, девочка, что здесь нужно?» — спешно ретироваться. Ведь и чувствовала себя жалкой просительницей — до совершеннолетия не хватало, увы, целых двух лет...

По совету отца я пошла в глазной госпиталь на улице Горького. Там меня приняли с распростертыми объятиями. Санитарок не хватало.

В палате с тяжелоранеными выбрала самого тяжелого — жестоко обожженного танкиста с повязкой на глазах. Ему грозили полная слепота и ампутация рук и ног.

Танкист отказывался от еды и от лечения. Не сразу, конечно, но все-таки мне удалось пробиться сквозь глухую стену предельного человеческого отчаяния. Как я была счастли-